

18+

Федор Самарин



**ВАРШАВСКИЙ
ДОЖДЬ**

Федор Самарин
Варшавский дождь

«Издательские решения»

Самарин Ф.

Варшавский дождь / Ф. Самарин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-595025-3

1973 год, все и навсегда определено, однако... Человек влюбляется в неосуществимое, не достигнув желаемого и понимает, что быть человеком гораздо болезненнее и сложнее, чем кажется. Особенно, когда все предопределено.

ISBN 978-5-00-595025-3

© Самарин Ф.
© Издательские решения

Содержание

ВАРШАВСКИЙ ДОЖДЬ	6
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Варшавский дождь

Федор Самарин

© Федор Самарин, 2023

ISBN 978-5-0059-5025-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВАРШАВСКИЙ ДОЖДЬ

... У него было с собой: любимый огурец из русской лавки, булка и три яйца.
В. Набоков, «Облако, озеро, башня».

1

– У меня фамилия фельдмаршальская. А какая, вам знать не надобно.
И сложила пальцы домиком над свекольной размазней.

Этим «не надобно» она моментально оказалась в прошлом, где газовые фонари, трубочисты, омнибусы и дамы курят папиросы с длинным мундштуком.

Таким это движение когда-нибудь еще раз вернется к нему, всплывет из памяти ни с того, ни с сего, вперемешку со всяким случайным мусором. Длинные пальцы, неопределенное время суток, слюдяные облака и легкомысленное небо сквозь легкую апельсиновую ретушь на горизонте.

И солнечный зайчик на лезвии ножа, которым она мастерски, едва касаясь, загринтовала горчицей кусочек черного хлеба.

– Не затруднит ли вас подать мне... хрену-с?

Даже это крепкое, как подошва, мужицкое слово с приклеенной «с» у нее вышло округло, атласно, с придыханьем: «хэръенос», как-то по-кастильски.

– Откуда вы вообще свалились?.. И ведь не надо было мне в этот планетарий. Ладно, я женщина с заскоками, всякое бывает... Хотя кольца Борромео говорят об обратном.

– Это над входом? Так их, вроде, Куберген придумал, а... А что не так с кольцами?

– Это другие кольца. Жак Лакан... Три кольца, а не пять. Там весь фокус в том, что если одно сломать, вся конструкция рухнет. Математика случайного и необходимого. Ну, и еще воображения и реальности. Если, допустим, кастрировать воображение, то человек... В общем, одно без другого существовать не может. Вот так, насчет случайности. Значит, вы тоже что-то там не случайно забыли.

– Маятник Фуко. Нет, ну... Просто там никого нет. Прохладно. Как в избе летом.

– Вы живете в избе? И что, каждый раз после маятника Фуко ведете девушку в ресторан?

– Это Сибелиус.

– Не поняла. Дурака вы, я вижу, со вкусом валяете. С метафорами. Сибелиус ведь метафора, да?

– Да сам не знаю. Пошли как-то в концерт, как раз вон туда, в Летний театр. Оркестр симфонический. Сначала чего-то народное, что ли, забористое, а потом уж Сибелиус. Чувство такое, будто из института отчислили... Ну и впал я, значит, после этого в клаустрофобию. Да знаю я, что это такое. Но уж больно слово мохнатое, страшное, подходящее... Два дня мучился. Места не находил. Ни пива выпить, ни закусить, внутри буквально остекленел, сутки не брился. Шучу.

– Впечатление хотите произвести? Я там «Фантомас» смотрела. Лет семь тому, что ли, может, даже шесть... И так хотелось, так хотелось, знаете, чтоб как Милен Демонжо, и на синем экране, и чтоб вся в белом, и в мини до самого сокровенного! Чтоб ну прямо как в песне... Не шучу.

– И всюду, и всюду... нет лучше Милен Демонжо. Эта?

– Она. Эффект Пигмалиона. Работа над тем, что произойдет, если уверовать страстно, а оно здесь, елки-палки, понимаете... как-то не хочет происходить... А Жан Марэ зато не понравился. Фу. А вот тот, который д'Артаньяна играл...

– Жерар Баррэ.

– Вот он. Я бы ему... Но это клаузон.

– Не силен во французском.

– Даже Леонид Ильич не силен, не расстраивайтесь. Есть такая штука – перегородчатая эмаль... Вот вещица.

Каким-то неуловимым, скользящим па она выловила из сумочки маленькую ореховую шкатулку, оплетенную тонкими перевитыми серебряными нитями вокруг овального, выпуклого портрета на эмали: женщина, на переднем плане кисть ее руки, за ней три холма над заливом, башня, кудрявые низкорослые дерева...

– Пустячок. От тещиной бабушки, – взвесила левой ладонью, покачала, опустила возле графинчика с водкой. – О-очень старинная вещица. Говорит, уж точно работа добряка из Тревизо... Был такой Добряк. Лет эдак за пятьсот до клаузонизма. Всякому человеку нужен свой собственный клаузончик. Маленький такой, где всякие фантики. Перегородочка от всякого разного. Поэтому хорошо, что на Сибелиусе вы мечтали, подозреваю, именно о кружке пива.

– Не уловил.

– Нормальные мужья должны любить пиво, а не симфонические оркестры. Мой, слава Богу, от Сибелиуса тоже не близко, но, когда надо, как говорить, киснет в сиськах молоко. Фольклор, если вы не против... Мужается мужчина. Во имя семейного счастья. Ждет меня... Вот сейчас мне нужно что-нибудь соврать... Ну, например, возле деканата... э-э... уже лишних десять минут. У сына проблемы в деканате... такой Сибелиус...

– В деканат?

– В смысле, в мини? Мне можно. Я этот... победитель или как его там... ударник, что ли, соревнования.

– Какого?

– Социалистического, а что, есть другие? Просто муж у меня... Большой-пребольшой. Ну, и залетела валькирия, я, то есть, от социалистического реализма. Растревожила сон богов. Хотя сын-то, собственно, не мой.

– А!

– Полегчало? Это сын моего папы. Отчима, точнее. Фамилия у него самая обыкновенная: Перельман. Мама у меня, понимаете, как-то подумала-подумала, сделалась невестой и тоже стала Перельман, а там сыночек – на год меня моложе. В общем... Я в планетарий сбежала от предчувствий и, можно сказать, томления, вы – спасаться от Сибелиуса, в результате – селедка под шубой. Это тоже нормально.

– Не совсем так... Я этого Сибелиуса – когда вас увидел – убил в себе с одного удара. То есть, дело было так – или я, или Сибелиус. А я нерешительный. А тут взял и все решил. Сам не знаю, зачем.

– А зачем?

– За тем же, зачем и вы. Вот сейчас разойдемся, вы в деканат, я за отпрыском в музыкалку, потом жену надо встретить с рынка, потом на работу: я в Доме офицеров...

– У, да вы правильный. Курсе на пятом, да?.. Что-нибудь необязательное, творческое?

– Более или менее. Да какая разница. Генерал-провиантмейстер, по совместительству, главным образом. И вот, значит, разойдемся, а что-то останется, что-то такое... Как фото на память.

На самом деле, никакого Сибелиуса не было, ни жены, ни отпрысков, а была белокурая Зина из приборостроительного техникума, с тонкой талией, тяжелым бюстом и чувственной нижней губой, только шея коротковата, – безобразно звучит: короткошея Зина, – и фильм «Пусть говорят» с Рафаэлем («Сьерро мис охос, пара кэ ту но съентас...»), и затеял он все это от тоски, всплывшей вдруг из пахучей нутряной глубины, бездны, куда он всегда боялся и куда всегда тянуло заглянуть, и где шевелилось нечто прожорливое, скользкое и холодное.

И снизошло: если он вот прямо сейчас не подойдет к этой женщине, никогда не случится нечто значительное. Может быть, самое значительное в жизни. Он не помнил, случилось ли с ним вообще когда-нибудь что-либо значительное, по крайней мере, большое, как-нибудь из ряда вон выходящее. Что-то похожее приключилось, когда вдруг чуть не женился тому уж лет пять назад на однокласснице: август, кленовые листья на ступенях загса, розы, запах коньяка, тема Мигеля, неправдоподобность и страх...

Она засмеялась, прикрывшись, как барышня, тыльной стороной ладошки, откинула за ухо пшеничный локон. Взломав фальшивые решетчатые стены в космах дикого винограда, брызнул юркий юный луч, осыпал искрами правую половину ее лица, нырнул на самое доньшко серебристо-серых глаз, вспыхнул, погас, исчез.

Точно такой же блик вылепил ее, отделил от замкнутого пространства планетария, погасив все цвета и формы, оставив живыми только тонкий, с горбинкой, нос – очкастый профиль школьной учительницы в бежевом мини, в платьишке с короткими рукавами, перехваченном ремешком из красной кожи, в греческих босоножках со шнуровкой на маленьких ступнях.

Она ела мороженое, опершись правой ногою на соблазнительно округлое бедро, слегка подломив левое колено, и была одинока и податлива как подросток.

«А не выпить ли нам чего-нибудь?»

Скользнула снизу вверх исподлобья через очки: «Ведите».

И все. В книжках такое невозможно. В книжках так не бывает.

На горошины смеха оглянулся с клумбы георгинов перед террасой пожилой солидный грач в маленькой круглой шляпе на затылке; теплый ветер встряхнул мордочки желтой акации на аллее, взъерошил кроны вековых дубов, вздул тюлевые занавески перед входом... Грач вдруг слегка кашлянул, одернул сюртучное оперенье, поправил золотую цепочку поперек живота, вернул в глаз монокль и неспешно, заложив за спину крылья, зашагал по присыпанной красным гравием аллее неотвязно за собственной тенью, отпустив по пути поклон какой-то паре в белом...

И казалось, что и эта чаща, все эти клены, вязы, дубы, ясени, пихты, и резной терем Летнего театра, и ажурные павильоны, и бюстик Лермонтова, обнесенный чугунной цепью, и кованная, в розах, ограда, и чаша фонтана с клумбою высоченных белых канн, все, что было и сто, и двести лет назад, останется таким же точно еще через двести лет. В том числе, планетарий, перед входом в который серебрилась шелудивая лысина Ленина под треснувшим стволом древнего грецкого ореха, обжитого поколениями белок, а чуть поодаль, обыкновенно, жарил шашлык на газоне пузатый дядька в фартуке и черных нарукавниках...

Небеса внезапно взвизгнули, хрюкнули, ухнули: прорезалось радио. С огромного куста жасмина вспорхнул перепуганный поползень, прыснула стайка синиц, что-то шевельнулось в лохматых, до земли, темных еловых лапах. Над парком эхом покатилося: «В шорохе мышинном, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц...»...

И вдруг захотелось стальным шариком от детского бильярда метко, навывлет, прострелить того сюртучного грача, чтобы треснула, лопнула его голова, покатилося шляпа, веером брызнуло крошево костей и мяса...

– Фото на память, – она назидательно подняла мизинец (розовый лак, ноготь-миндалина), – фото на память это ужас. Это как на первом свидании подарить... например, гладюс. Мне. А вот... Простите, вас не затруднит?

Подошла маленькая черненькая официантка в белом передничке, вильнула оттопыренным задом, специально обойдя столик со стороны Спиридонова. Наклонилась, выслушала, кивнула и через минуту принесла карандаш и листок отрывного календаря: писчей бумаги не оказалось, только салфетки.

– Сейчас... – взяла карандаш левой рукой, быстро черкнула, перевернула листок изнанкой вверх: на черно-белом рисунке из иллюминатора ракеты высывались Белка и Стрелка;

потом выпрямилась, откинулась на ивовую спинку плетеного кресла, показала глазами на графинчик с водкой: – И чего мы ждем?

Не дожидаясь, пока он разольет по рюмкам, вилкой отделила кусочек селедки, аккуратно счистила со свеклы ножом майонез и нагрнула алой копной сверху. Оглядела со всех сторон, вздохнула:

– Бедная рыба. Испугалась акула, и со страху утонула... И ничего смешного. Не читали «Бармалея»?

– В смысле, доктора Айболита?

– У, какие у нас пробелы... В «Айболите», там она правым глазом подмигнула, и хохочет, и хохочет будто кто ее щекочет. Настоящая женщина. А в «Бармалее» они ее за это кирпичом, кирпичом... Помните, как ее звали?

– Кого?

– Акулу, конечно.

– Нет, не помню.

– Каракула. Акула Каракула. Селедка, она, само собой, не акула, так, дальняя родственница. Но представим себе, что у нас с вами сельдевая акула. Под шубой.

– Что, едят?

– Еще как. Есть вообще можно все. Даже то, чего не существует.

С языка чуть было не сорвалось насчет святого духа; потом – когда речь зашла об уважении к шестиугольнику – показалось, что надо бы как-то дать ей понять, что мужчине чувствовать себя идиотом не хорошо, потому что обидно, а про имп-арт он, конечно, в курсе, однако в этом городе о нем знают только в соответствующем учреждении.

Импорт другое дело, его потрогать можно. А когда на холсте пишут то, что вроде бы где-то видел, но чего не бывает, так это не новость. Взять хоть вот меню, допустим, где «рислинг» присутствует, а его на самом деле нет...

Спиридонову вдруг показалось, что выглядит он глупее, чем есть на самом деле. И говорит не так, как мог бы. А если заговорит, то она подумает, что он хочет казаться умнее...

Может быть, она и сама ничего не соображает. Вазарели, Хесус Сото, Диас... Просто вызубрила, чтобы, когда надо, сыграть заполнение, как ударник в джазе, сыпровизировать хорошо отрепетированное вечерком под пледом на диване, когда большой-пребольшой супруг где-нибудь чикает ножницами ленточку или вручает переходящее знамя... Не для того, чтобы впечатление произвести, у нее все в порядке, особенно ноги, а саму себя послушать – со стороны.

– Мама моя говорит, – начитанная, между прочим, женщина, – они просто рисовать не могут. Вот и кобелятся.

– Да, но... Вашей маме тоже никто не мешает выдумать порох непромокаемый. Швед один вот выдумал «Невозможный треугольник». И ведь взаправду невозможный. Оказалось, шедевр и кстати, полезная вещь. А другой, француз, хотя вообще-то венгр, «Вегу-Нор 2», бесполезная такая башка без лица и в клеточку, но глаз не отвести: гипноз... Вот мы, допустим, придумали сейчас акулу, и... Хотя тоже кощунство. Акула – это же предпоследнее звено ВЦБ.

– ВЦПС знаю, а ВЦБ это у нас кто?

– Великая цепь бытия.

Спиридонов пожегился: от «бытия» попахивало кафедрой научного коммунизма и каким-то поэтом в нестиранном свитере, с немывыми волосами и с гражданской позицией.

– Акула, ламна, то есть, сельдевая, самая стремительная из всех. В воде никогда не мерзнет, у нее там какой-то встроенный обогреватель. Очень вкусная: ее, может, сам Модильяни кушал в своем Ливорно. Или, допустим, Пикассо. Испанцы вообще едят ее запросто... деликатес! Мясо благородное. Ее Арчимбольдо не случайно... Я понятно говорю?

– Арчимбольдо у меня на стене в мастерской висит. Стихия огня.

– У вас... мастерская?

– Да так. Закуток.

– Можно посмотреть? У, какой вы интересный... Никогда не видела мастерскую. Слушайте, да вы почти Арчимбольдо. А еще у него есть Стихия воды, там как раз акула, улыбается от уха до уха. Потому что согласно вот этой самой цепи... Раньше вообще весь мир так был устроен.

– В цепочку?

– А мне нравится. Никакого равенства и братства. От простейшего к высшему. Например, все округлое, камень, скажем, это примитив. А вот птица Феникс – зона огня, прямо перед... В Бога верите?

– А можно?

– Ну, комсорга-то большого-пребольшого поблизости нет... Значит, Феникс, роскошный такой, пышный – прямо перед Богом. Высшее существо из низших, то есть из птиц. Типа герцога. И кстати, среди птиц одного вида – все сплошь двойники. Как жуки и крысы. Птицам нет нужды отличаться, рыбам тоже... Это ведь только мы понимаем, что это мы, когда в самый первый раз посмотрелись в зеркало. Есть такая стадия зеркала. Там, правда, не двойник, в зеркале-то, а копия, потому что все наоборот, левое ухо – правое, пуговицы в обратную сторону... Буржуины говорят, отражение это астральное тело, которое бродит себе по параллельным мирам, туда-сюда, туда-сюда... Пармиджанино.. э-э.. художник один... такими вещами развлекался... ну, и доигрался, бедняга.

– Радио Люксембурга? Голос Америки?

– Да нет, супруг к лекции какой-то готовился, в техникуме советской торговли. Он ведь такой... Доппельганер, темная личность. Его иногда... употребляют, как кочедык для лаптей... Я ему «Науку и жизнь» вслух читала, чтоб запомнил, последний номер... У каждого, значит, свой имеется Доппельганер, свой «черный человек», своя морда с оскалом... Двойничок. Хищник. Отдельная стихия... Еще хрену, пожалуйста...

А есть еще стихии земли, воды и воздуха. И там все кишмя кишит всякими существами... Самое нижайшее население – типа угнетенные народные массы – самое нижайшее, стало быть, это всякие там креветки, раки, крабы, ракушки...

– Лягушки...

– Нет, эти малость благороднее: воздухом дышат и по земле прыгают. Французам в оправдание... Потом идут рыбы, придонные и дальше к поверхности, притом, морские рыбы чище речных, потому что ни тины, ни ила... Затем, акулы, дельфины и киты, а между дельфинами и птицами – зверье земное.

– Всякое? или только... съедобное?

– Из съедобного тут в самом позорном низу свиньи, на самом верху телята и коровы, а между ними козы, овцы и бараны. Птицы, значит, вообще самая благородная еда, а из них самые полезные это все певчие, ну, там, паштет из соловьиных язычков, допустим, или фрикасе из дроздов... потом, конечно, куры с индюками, и уж только после – гуси и утки. Так что, еда – занятие щепетильное... Анастас Иваныч Микоян, подозреваю, был тайным поклонником ВЦБ, потому что «Книга о вкусной и здоровой пище», это... танец с саблями!

– Кино снимать можно.

Она лихо, не закусывая, махнула в рот водку, выдохнув горлом: «Маран-афа!...», и внимательно прошлась взглядом по его щекам, скулам и губам:

– Небритый... Смотрю, стоит, значит. Смотрит. Такой ...Дроздобород. Только без бороды. А вы похожи на Айболита. Длинный, тощий, сутулый... И нос такой, фактурный. Вы, наверное, тоже очкарик, да? Вам бы бородку клинышком... Но плащик что надо. Фирма. Не жарко?

– Это для понта.

- Да я заметила... Понт, надо думать, чешский?
- Австрийский.
- А, так вот вы по каким делам провиантмейстер... Заметут. Повяжут. Настучат.
- Я аккуратный.

Она еще раз ощупала его взглядом:

– И с какого шестка вы свалились? Не знаете шесток? Ну, впрочем, это... Русской печки дела. Деревенские. А в деревне сейчас ужас как хорошо и совсем ничего не знают про Арчимбольдо... Хоть бы дачу снять, что ли... Уехать бы в какой-нибудь Бробдингнег... Это моя мечта – дом в деревне. Хотя бы на недельку. Снять с себя все, и как в детстве, в одних трусах... У нас была дача – да сплыла... Там сейчас тихо, паутина по саду летает, боярышник, слива, яблоками пахнет... Речка под косогором, и еще озеро: такое, знаете, лесное, с ключами. Сосны мачтовые, пахнет клевером и белки ручные... Белки, кстати, большие специалисты насчет покушать. Обожают олений трюфель, и...

Она говорила, говорила, говорила... Об оленьем трюфеле, который ядерная бомба, потому что в нем полно цезия, и что белка есть на гербе какого портового немецкого города, и что белки те еще клаузоницы, и что у Гогена есть гениальное «Видение после проповеди», и что она бы вот прямо поселилась там, где «Мадлен в лесу»; и что она убежденная интимистка, а орфизм и Жорж Сёра полное дерьмо, и Пьер Боннар, написавши «Дверь в сад», предрек будущее, потому что когда-нибудь люди устанут друг от друга, и всем остро потребуется прочный клаузон и одиночная камера, и еще о том, что где-то далеко есть галерея Пезаро, а в ней дивная «Обнаженная» какого-то Фуни, и это называется «новеченто», и что у каждого есть своя дверь в сад, и надо ее найти, потому что в саду пчелы и смородиновый покой, только вот дачу теперь не снять – дачи в этом году нарахват...

Он не старался да и никогда не мог вызубрить наизусть таблицу умножения. А она всех этих... Серюрье, Дени, Умбальдо Оппи... будто только что с ними по рюмашке накатила... Тут вдруг, может быть, и в связи с таблицей умножения, мелькнула зачем-то мысль, что хорошо бы было родиться сразу старым индейцем, с перьями округ башки, в штанах с бахромой и с длинной трубкой, и сидеть себе у костра, и думать длинные индейские мысли...

Все в ней было не то, все было не так. Все было обман, все сбивало с толку. Очкастая училка младших классов, синий чулок в сокрушительном мини, с упругими бедрами, которая концептуально хлещет водку, запросто выговаривает «бытие», знает толк в белках и акулах, кто такой Пьер Боннар и что такое новеченто. Одно никак не вязалось с другим, третьим, пятым и десятым... и за всеми этими слоями скрывалось, таилось, внимательно наблюдало за внешним миром что-то совершенно непостижимое, что-то, что знает все наперед и не верит в совпадения.

Он почти не слушал, потому что перед ним билась тонкая ленточка голубоватой вены возле ключицы, медной лавой стекала за треугольник выреза грудь, серебрились слегка захмелевшие глаза, в которых было написано, что если вот прямо сейчас он возьмет ее руку и поцелует, то потом повеет заморозками, и мрак накроет землю уже после того, как он оторвется от ее маленького влажного рта, и останется сладковатый запах пота и духов «Быть может», и будет упоительно опасно, суматошно и остро. И все исчезнет. Не останется ничего. Выжженная степь. Сгоревшая стерня. Пепел и черный суховей. Не о чем будет даже сожалеть.

– ... а Гоген, это предвкушение старости и вечной неги. Говорят, он питал жуткую абоминацию к головоногим моллюскам, карликам и рыжим женщинам... А еще мне нравится слово «вотще». Похоже, кстати, на векшу. На белку, значит. Векша, веверица... И монетка такая мелкая была. Малепусенькая. Вотще векша веверицей выбелилась... И еще вот это, не помню, чье, но звучит многозначительно: «Утром сей семя свое, и вечером не давай отдыха руке твоей». О чем бы это, вы не в курсе?

– Похоже на проповедь мелкобуржуазного порока. За такое в рабочем коллективе могут и в глаз дать. А комсомольцев разжаловать. В тимуровцы... Стихи пишете?

– Пробовала. Когда маленькой была. Под Игоря Северянина.

– И что потом?

– ... А потом прочитала «Книгу о вкусной и здоровой пище». И поняла, что стих-то может всякий сочинить, а вот достать копченого угря... Тут мозги надо иметь.

Она перехватила его взгляд:

– Только вот без этого. Не просыпьте соль.

– Э-э... Соль? В приметы верите?

– Один как-то раз не поверил. А потом повесился.

– От тоски?

– От того, что Иуда. Это на «Тайной вечере», у Леонардо. Я в Леонардо верю. Он не ошибался.

– Вечера... Там народу полно... Картина большая...

– Фреска, вообще-то. Но вы, главное, свою, Дроздобород, свою соль не просыпьте. Ну, чего мы ждем?

И улыбнулась, и тронув кончиком языка белые верхние резцы, показала глазами на графин. Он хотел было рассказать анекдот про то, как американец к русскому за солью ходил, представил результат и, ему показалось, слегка побледнел (она заметила), но не дрогнул и разливать все же не стал:

– Да, как-то надо бы за встречу и все такое, вообще хочется сказать что-нибудь красивое... Водка не подходит. Может быть, уговорю официантку на «Рислинг» или «Лидию», хотя бы... Наверняка есть где-нибудь в холодильнике, для своих... Кстати, мы... вы.. Мы не представились.

– Это предрассудок. Фамилия у меня фельдмаршальская, а большего вам знать не надобно.

– Кутузова, нет?

– Фельдмаршальская. Фельдмаршалов навалом. Это только у нас их всех... отменили. Хватит и того, что я сейчас, замужняя дама, кушаю зеленого змия с совершенно посторонним молодым человеком. Чуваком. Кольцо на пальце видите? Чего ж вам боле?

Он сделал брови буквой «л», шевельнул собранными на лбу морщинами, покрутил неопределенно пальцами, собрался было пошутить – шутку не нашел и, перепутав последовательность, сначала закусил неловкость расплывшейся свеклой, а уж потом плеснул в себя уже совершенно теплую водку.

– Так что... – она достала из сумочки пачку «Стюардессы», подцепила ногтями сигарету, быстро, с хрустом, размяла, несколько крошек табака просыпались на скатерть, – Так что, представим себе, что мы с вами просто случайные футуристы с выставки, пьем абсент где-нибудь... в кафе «Флориан», что ли, на площади Святого Марка, и спорим о том, что вот, мол, профитроли кушать вредно, а пачули пахнут островом Ява и разворотом, и надо бы очистить линии и отполировать форму...

Воздух вдруг как-то странно дрогнул: откуда-то с того края земли, со взбитой мантии лесистых кражей дохнуло мокрым снегом и длинными ночами.

– А вы знаете, мне однажды показалось, что я утратил фамилию. То есть, она просто, знаете, вот как со змеи – взяла и с меня слезла. И уползла.

– Да? Не завидую... Скоро будет дождь...

– Да, наверное, будет. Пора бы уже...

Она воткнула сигарету в салат, поднялась, одернула платье, потянулась, взяла календарный листок и, обойдя столик, сунула его в карман перекинутого через спинку спиридоновского плаща. Слегка взъерошила, взвихрила пальцами его макушку...

– Вы забыли... эй!

Она уже исчезла за жасминовым кустом перед застывшими в напряжении пограничником Карацупой и его Индусом, которые вот-вот поймают злобного японца...

Он придвинул к себе ее селедку под шубой, и уставившись на шкатулку, с легкими угрызениями совести доел, подчистив розетку куском бородинского хлеба.

2

...Чувство потерянности, а в особенности такая вещь, как утеря фамилии – это как потеря обоняния. Когда не имеют значения ни окрас гладиолуса, ни конфигурация котлеты... Написал же как-то Арчимбольдо пьесу для клавесина цветовыми пятнами вместо нот. И сыграл.

У потерянности, должно быть, особенная гармоническая прогрессия. Но жить, как оказалось, можно: что-нибудь да отрастет на месте утраченного. Как хвост у ящерицы...

Илья Иванович осмотрелся: в сенях чисто. Сухо. Банки с вареньем из мелкой райки, с рыжиками, с каким-то морковным убожеством, еще с чем-то сомнительным. Веники шалфея по углам...

Зайдя в дом, осмотрелся: расписанная подсолнухами печка с лежанкой, кособокая узкая койка с ржавой решеткой со стальными шариками, матрас в квасных пятнах; чистые белые стены, огромный потертый рыжий диван с крутыми валиками и деревянной полочкой поверх спинки, три стула старобельской мебельной фабрики... Что-то воде крохотной прихожей. Лосиные рога с двумя одинаковыми клетчатými кепками. Старинный чугунный, с игрушечным медным краником, умывальник. Глубокая картонная коробка, доверху набитая войлочными больничными тапками на завязках...

Между печкой и диваном большой, в кружевных завитках, застекленный комод с фаянсовыми тарелками, чашками, кастрюлями... Замызанная электроплитка; еще одна – на подоконнике. Две развесистых вешалки – короткий черный тулуп, брезентовый дождевик с капюшоном, фуфайка, ондатровая шапка-ушанка и шикарная серая фетровая шляпа... Высокие, под потолок, лакированные напольные часы с дверцей...

Овальный ясеневый стол под синей, в розовую полоску, скатертью: коробка шахмат, россыпь ссохшихся слив, сухие перья крупных чайнок, стакан в подстаканнике, высокая, на тонкой ножке, вазочка: в ней согнутый пополам тетрадный в косую линейку лист, исписанный наполовину; рядом – какая-то коробочка; у второго окна – раскрытая радиола ВЭФ-«Рапсодия» с двумя поломанными ножками, под каждой подторкнуто по книге. Два здоровенных круглых рефлектора для обогрева. Возле печки длинный коврик-гобелен с пейзажем и бахромой понизу, за которой темнело еще какое-то пространство – чулан, что ли...

Все в этом доме было будто бы собранно из разных мест, из других эпох, от разных собственников, и вместо русской печи хотелось увидеть изразцовую печь до полотка в голубых азулежуш...

Тепло.

Взвесив портфель, Илья Иванович... ну, что ж поделать: сам себя по отчеству он называть стеснялся и, в силу возраста, пренебрегал, однако, личность в себе ценил, и сам к себе обращался исключительно Илья Иванович... взвесив в руке портфель, Илья Иванович сдвинул в сторону шахматы, залез в карман куртки, пошарил, выудил блокнотик, сверился с адресом. Все правильно. Старо-Кутузовская, 7, Седьмая просека. Вырвал листочек, перечитал: инициалы, какая-то закорючка, телефон. Сложил, сунул обратно.

Да. Старо-Кутузовская. Старая фельдмаршальская.

Потом аккуратно выложил на стол электробритву «Бердск», шкатулку, флакончик одеколона «Дымок», две пары синих носков, палку московской колбасы и восьмой номер журнала «Новый мир» с «Сандро из Чегема». Порывшись в плаще, сбросил на журнал две пачки

«Опала», совершенно не нужные спички и, вместе с зажигалкой, календарный листок, который пошло, как в кино, вспорхнул и прилег на коробочку возле стакана.

На листке двойным корпусом чернело: «24 сентября 1973 года»; чуть ниже тоже крупно и безысходно: ПОНЕДЕЛЬНИК. На обратной стороне размашистым почерком: «33-26-74! До 18.00. Не забудь вернуть Добряка».

Коробочка оказалась – Спиридонов с ленцой удивился тому, что, собственно, не совсем и удивился, хотя, в целом, оно и удивительно – оказалась копией «фельдмаршальской». Положил их сначала рядом, потом раскрыл каждую по очереди: у вогнутых дам взгляд одинаково отстраненный; закрыл, снова раскрыл, закрыл, наконец, чтобы запомнить, какая чья, поставил, наконец, одну на другую. Та, что подлинник, сверху.

Потянулся было к вазочке за хозяйскими наставлениями, как вдруг массивная, надменная как козырной валет стрелка циферблата со скрежетом качнула завитками пики, замерла, вслушиваясь в собственные внутренности, взяла стойку как сеттер на болоте... Вот дрогнула, сделала аккуратный шажок, нащупывая почву, застыла, отпрянула было вспять, – и время мгновенно раскрошилось, посеченное осколками чье-то чужой, вдребезги разбитой мысли о чем-то неотвратимо болезненном и вязком...

«Если вы это читаете, значит, уже вошли, следственно, отыскиали ключи под ставней слева, как я вам и говорил. В погребе, это на веранде, еды навалом. И „хреновуха“, очень забористая. Не стесняйтесь. Магазин в трех километрах, автобус два раза в день, если повезет. Будете съезжать, деньги оставьте в вазочке, ключи положите за ставень. И калитку заприте. Всего наилучшего».

Хозяина он отыскал на следующий же день – во сне гладил по голове китовую акулу – в газете «Солнце грядущего». Между объявлением о найме непьющего сантехника для дома отдыха «Агудзера» и круглосуточном приеме грунта. «Сдам дачу на сезон без предварительной оплаты... Звонить... Спросить...»

Позвонил. Договорились. Обменялись телефонами: хозяин – Иван Ильич – был занят (а чем, не сказал).

Повесив трубку, подумал с кокетливой ленцой: зачем? Легкое, звенящее возбуждение, которое его никогда не обманывало – влекло, как крылатку ясеня в ливневую канализацию. Весело и неумолимо. Как мечта о банке холодной сгущенки в середине ночи – если вселилась, непременно свое возьмет...

Уже нарисовал он себе как все будет: вот приедет, протопит... разберется как-нибудь, где там шесток, а где поддувало с вьюшкой... нарвет цветов (каких?) или листьев, что ли... Привезет с собою вина и сыру... пошехонского, с дырками, и пяткой пахнет... Накроет стол... Откуда-нибудь возьмется семга, зразы и еще что-нибудь из «Вкусной и здоровой пищи», такое, с дымком и корочкой... И он, допустим, скажет потом, что сам все приготовил... А после он ей позвонит, и она согласится, и приедет, и ахнет в дверях, и будет вся такая растрепанная, и улыбка у нее понимающая, и присядет куда-нибудь так, чтобы на бедре отблеск цвета слоновой кости...

И сразу же понял, что ничего этого не будет. Не может быть. Вина и сыру не купил, не было пошехонского, да и голландского тоже... Представил себя в фартуке, колпаке и перед котлетой...

Да. Назвался груздем, а на жопе пуговица. Путь к сердцу женщины лежит через возможности.

С другой стороны, ведь ей в избу хотелось. Припасть к корням, к истокам. Сруб, наличники, рошица на пригорке. В деревне всегда пригорки, а на них рошицы... Яички деревенские, маслице, сметанка, картошечка в чугушке... Уж яйца-то сварить он сумеет. Вскользь эдак заметит, что, мол, фамильное гнездо, имение прабабушки, а она в дальнем сродстве с Аксаковыми,

и закаты там как у Архипа Ивановича Куинджи, а заодно и шкатулочку вернет... На этюды сходят по вечерней зорьке...

Неубедительно. Но, тяни, не тяни...

Поехал, не решившись посмотреть в календарный листок с ее телефоном – сел в полупустой ПАЗик с сосущим предчувствием чего-то преступного, с ощущением и даже железистым привкусом какой-то грядущей глупости, словно вот стоит он, малыш, в коротеньких ботиках перед глубокой мартовской лужей.

Телефон существовал только на почте. А почта где-то на станции. Большой черный телефон с большой черной трубкой...

...Оказавшись снова на крыльце, сглотнул густой запах прелой травы и подгнивших яблок, который раньше был еле слышен. Яблоневый сад, косматый, кряжистый, с переплетенными ветвями, в кудлатых зарослях крыжовника, ежевики и малины, впадал в молчаливую дубраву, темную, частую, опасную. Ограды не было вовсе, только частокол елей у тропинки и кое-где кусты облепихи. Раздвоенная тропа, вымощенная крупным, кое-где в трещинах, но крепким старинным кирпичом и, кажется, даже чисто выметенная – когда-то, видимо, аллея – вела от автобусной остановки через весь поселок и вот эту самую дубраву, и называлась Тещин язык.

Дом утопал под двумя пышными липами своей двускатной, с резьбой по краям, крышей с крошечной мансардой в балясинах, и маслянистое кружево липовой тени скатывалось вниз лиловыми пятнами.

Наверное, хорошо, где-нибудь в марте, когда на скате слюдяная корка оплавленного льда с хрустальной каплей на морковке только-только вызревшей сосули знать, что в сорока километрах будто выписанный больничным лист – отсроченная жизнь, унижительная, как рейтузы с начесом и на резинках.

Обошел его с одной стороны, по вытоптанной тропинке, до скворечника на длинном шесте, повернул к веранде с отдельным входом – две нижние ступеньки провалились, и за ними зияла чья-то нора. Впритык к веранде стоял притулился симпатичный флигель, сложенный из крупной гальки и под черепицей: оказалось, сортир с обыкновенной дыркой там, где положено... И стопка журналов «Наука и жизнь» на табурете. Сверху последний номер, в точности, вплоть до кофейного пятна на обложке, такой же, который он листал, пока ехал в ПАЗике...

Нехотя, потому что хотелось, чтобы усадьба разворачивалась дальше, обозначая где-то там, во глубине, таинственные аллеи и даже, может быть, ротонду над милым озерцом, а на бережку – купальня, повернул назад, мечтая сунуть ноги в войлок тапочек.

Радиола ВЭФ- «Рапсодия» оказалась первым предметом, который без понуждения льнул к глазам. «Рапсодия» взывала, ловила распахнутой крышкой воздух будто двоякодышащее существо: ее покалеченные ноги затекли на книжках и, когда он вытащил одну, радиола перекосилась – пришлось быстро подоткнуть шахматную доску.

Книга была в обложке из зеленой кожи и называлась «Малый Апиций или Искусство благородного обеда». С картинками. Перехватив ее подмышку, подергал рычажок – радиола не заводилась, снял пластинку: «Варшавский дождь», с царапиной от края до «пятака»... и зацепился сначала взглядом, а потом и мыслью за соблазнительную рыжину дивана.

Ощувив спиной его вялую кожу, поерзал, улавливая затылком округлость валика, зачем-то поднес к глазам пластинку, осторожно, не глядя отправил ее на войлочные тапки и, – вдруг почувствовав, что стремительно стареет, – раскрыл книжку.

Строчки казались бессмысленным набором значков вроде нот, вроде отметок токаря на какой-то сермяжной детали, – поверх строчек, сместив планы, неожиданно завис паучок на оконной занавеске: сучит лапками, прядет, колотит коклюшками, и вышитый им розовато-белесый цветок похож на карту какой-то испанской провинции, и если проехать по ней чуть на север, то упрешься в Пиренеи, а там горные козлы и пахнет сыром и лавандой...

Кто-то ведь там, в этих самых Пиренеях, знает, что Спиридонов он самый посредственный, фальшивый, и стихи пишет корявые, подсмотренные, ворованные, и рисовать, по совести, толком не умеет; что он даже и не Спиридонов, а как бы кто-то. Наполовину выделанное нечто. Побрякушка. Заготовка для куклы. Бижутерия, которой завидно.

Бибабо.

Нет, все-таки лучше живой яркий день, живые тени – вот прямо сейчас, и шкворчащая яичница перед носом, и бутылка вина из «Каса маре», чтобы выпить, и настоящая женщина, чтобы утолить похоть, – не на бумаге, не на доске, а вот прямо сейчас. Потому что все, что «потом» годится для искусства. Да и для искусства тоже не подходит, кому нужно тухлое искусство... Настоящее «потом» – это пустое, полое, круглое, бессмысленно мычащее оно.

Выбор ограничен. Поддашься искушению – грех. Не поддашься – гордыня. Вот хорошая эпитафия: «Он страдал аборминацией к головоногим моллюскам, во всем остальном был безупречен».

Средневековое суждение, откуда что берется...

Зато какая благодать, когда вдруг бессовестно захочется беляшей, с пылу, под сметанку, а не то с укусом и черным перчиком, а – нельзя, а геморрой, а вставная челюсть и давеча во сне куда-то полетел, неуклюже, тяжело и очень низко... Нельзя, а ты сопишь, и горячий жир течет по подбородку...

И как-то – как? – связано с этим то, что все-таки и деловитый паучок, и невесть откуда взявшийся запах жареного лука, и вон та нитка на занавеске, и неровный завиток вышитого мака, – все ныло как гнилой зуб, все просилось вернуться в какое-то воспоминание, которое он наверняка уже когда-то прожил и пережил, потому что раньше уже видел и этого паучка, и этот вышитый мак. Даже знал, что вот сейчас встанет и оборвет нитку на занавеске, а она, как на грех, не захочет поддаваться, и придется ее откусить...

А паучок ведь мог балансировать прямо над душем, и пар бы раскачивал паутинку, и влажный бисер сверкал бы на его шерстистых лапках, и аромат каких-то трав, собранных в полнолуние, и она, вытянув вверх руки, и потоки пенистой воды по ее плечам и бедрам, и ванна похожа на миниатюрный пруд с кувшинками, вплетенными в ее потемневшие от влаги волосы, и из лилий, падших на грудь, она свивала кубок, и пила из него теплое темное сладкое токайское вино... На каком-то языке кувшинка будет нинфея, а кокетничать – вроде как, выходит, кувшинничать...

А потом она нинфейно замрет перед бюро – у нее в доме обязательно должно быть старинное бюро, ореховое, под шкатулку, – выгнув бедро, как в планетарии... Нет: лучше сразу в коридоре поезда, у окна, и по ее отражению частит частокол пробегающих столбов и мокрых осин, и ее взгляд улавливает все объемы, линии, цвета и предметы, преобразуя их в подобие того, чем они являются на самом деле... Нет, пусть лучше подойдет к буфету – бюро не годиться... Вот достает непременно из старинного, конечно, только из карельской березы, что ли, с зеркалами и в резных виноградных листьях буфета крохотный лафитничек с хрустальной пробкой в виде еловой шишки, нацеживает вишневые капли в серебряный наперсток: «Маран-афа!»

Зачем она говорит так, как не говорят уже давно, а может, никогда и не говорили? Что такое, например, «Маран-афа»? Кто это? Пигмалион, Борромео... Аборминация... А еще у нее в обороте, допустим, «ажитация» какая-нибудь, и тротуар у нее по-старопитерски «панель»... Тащить на себе этакую тяжесть... И вдруг почувствовал как у него самого от этих слов вырастает чудовищный верблюжий горб, и подгибаются не ноги – раздвоенные верблюжьи лапы, и вязнут в песке, и начинает похрустывать позвоночник, и в глазах – черные мухи...

Хотя... Ведь кажется же ему, – лет, пожалуй, с двенадцати, – убежден же, что всякий должен знать, что Тропинин любил класть два слоя грунта, а в нижний непременно добавлял охру. Или, допустим, что Будда – это только девятая аватара Вишну, а Кришна зато восьмая, и в этом

сокрыто нечто потустороннее, очень важное, уму непостижимое, а аватара, собственно, означает что-то вроде отражения или сошествия...

Кто знает! Может быть где-то сейчас уже вызревают, набираются соков, дышат в своих коконах какие-то неведомые слова, и скоро вылезут на свет, и расправят перепончатые крылья, а за ними еще, и еще, и еще, и язык изменится до невменяемости...

И думать предстоит аватарами.

И царапнула подленькая, с прищуром, мысль: что будет со Спиридоновым?

Долго врать не получится. Не располагала к тому двухкомнатная квартира в трехэтажной «хрущевке» с «титаном» на кухне и окнами на женское общежитие, и даже любимый рыжий кот Семён, покойный ныне, тоже не располагал: любил гадить в ботинки. Выдумывать себе биографию, творческие наклонности и материальную независимость – на этом можно продержаться, ну, от силы дня два. А то и меньше. Ведь она когда-нибудь... да почему «когда-нибудь», вот сегодня же, может, и узнает, что он – законченный Спиридонов. Именно Спиридонов. Методист в библиотеке дома офицеров. Сонный неуч, зарплата сто рублей, а все потому что дважды не поступил в художественное, и мамин двоюродный брат – подполковник – втиснул его в эту библиотеку, чтобы мальчик высидел стаж.

А мальчик сидел, сидел – да и прижился. Поступать, позориться, было незачем. Да и мама напоминала как-то вяло... Ну, а там арабские курсанты, особенно из Алжира, возникли со жвачками и разноцветными носками... Богемная жизнь: «Плиска», шейк, Зина льнет продолговатым бедром... А потом опять в кармане на «Букет Молдавии» с конфеткой, выражаясь геометрически...

Ему все никак не удавалось попасть в собственную тональность. В какую именно, впрочем, никогда не задумывался, опасаясь, что ее и вовсе не существует. Все, из чего состоял он сам, все, что любил, не замечал и ненавидел – все было не похоже на жизнь, которой он не грезил – жил перед сном, особенно во время и сразу после жуткого гриппа или перечитывая... что перечитывая? когда в последний раз он что-нибудь перечитывал? Но каждый раз, просыпаясь, он сквозь ресницы предвкушал ослепительное счастье и возвышенную радость, а вместо этого каждый раз приходилось окунаться в скупое, смутное, в редких живых мазках, неожиданно изящных и потому неуместных линиях и пятнах разнообразной тени...

Сидоров и Маран-афа барражировали на разных высотах и по разным траекториям.

А все-таки, вопреки Маран-афа, шея у нее...

...А шея у нее, однако, в едва приметных поперечных складках. И когда она там, где-то у себя, в ванной проводит по ней розовой губкой, на соски сбегает калейдоскопическая пена, и в каждом пузырьке загорается новогодний бесенок, и кожа у нее с оттенком японской дифилеи, и откуда-то он знает все и про этот цветок, и про пену, и про то, что на внутренней стороне левого бедра у нее крошечный шрам...

У дифилеи лепестки льдистые, прозрачные, дышат предрассветным инеем, – вот как сейчас, когда затылок обдало неуместным сквозняком...

А ведь все могло... может быть ужаснее. Никакой фельдмаршальской фамилии у нее никогда и не было, а Шелушонькина она какая-нибудь. Анастасия, допустим. И мужа у нее нет, и платяшко с босоножками на день у подружки выпросила, и по утрам, обыкновенно, сидит она, босая, в халатике ситцевом, на кухне, шевелит холодными пальцами, и ест яичницу с луком, схлюпывая желток, и думает о том, что вот лень идти чистить зубы, и вдруг, закусив губу (кажется, сверкнула золотая коронка на клыке), прицелившись, размазала муху по клеенке...

Не отрываясь от дивана, заранее неестественно скосив глаза, он вывернул, сколько смог, шею: полысевший, траченный молью гобеленовый коврик на двери рядом с печкой – тропинка через сосновый бор – вздувшись пузырем с одного края, мягко прилег на место, сделав из одной тропинки две: одна упиралась в провал ворсистой складки, прямо в дупло ветхой сосны...

И почувствовал под ногами упругость хвои и песка, и прохладу тени, ретушью набегавшей на плечи, и услышал как эта тень с шелестом скатывается вниз, сквозь тишину, которая себе на уме, и сладковато пахло жимолостью, кукушкиным льном и опятами, и вот уже впереди провал между мачтовых сосен и дубов...

Надо было встать. Какое-то суетливое беспокойство уже начало к нему принохиваться, выискивая, куда бы впрыснуть споры будущего страха. Зажав подмышкой книгу, он сполз с дивана, сунул ноги в войлочные тапки и откинул занавес.

3.

...Дама с выпуклого тондо – на заднем плане три волнообразных холма, оливковая роща, руины какой-то мощной стены, выраставшей прямо из моря – моргнула и одновременно с движением ее ресниц человек, сидевший под портретом прямо против входа, развернулся. При этом его чудовищная тень, отброшенная большой алтарной свечей на каменную стену и зацепившаяся за мощные черные балки потолка, не... хотя, кажется, все-таки слегка пожала плечами.

Винтовой табурет для фортепиано, на котором человек сидел, поджав босые ноги в сабо и полосатых гамашах, был с щербинкой по краю – Спиридонов ее мгновенно узнал: след от когтей покойного кота Семёна.

– Иван Ильи...?

Если бы вдруг сейчас его накрыла гнилостно-пряная, сладковатая духота тропического болота, если бы со всех сторон обступили косматые, в бородах мха кипарисы, гигантские фикусы с плодами на стволах, и лиловые ковры традесканции, и мясистые стволы разлапистых хвощей, и зевы пятнистых орхидей сквозь заросли стреловидного аира непостижимой величины, а на колоссальных листьях виктории сидели бы ядовитые лимонно-голубые лягушки, и откуда-то сверху свесилась бы мышьяная морда вампира-десмода, и всплыла бы огромная капибара с оскаленными резцами... И верещали бы паукообразные обезьяны, и щелкал изумленно желтым клювом радужный тукан, и вот – в маслянистой жиже вязнут верблюжьи лапы, и, пуская пузыри, всасывает тело плотоядная топь...

Или когда бы цапнул за задницу из темноты мохнатый домовый...

Тогда он бы помер от ужаса.

А тут, что ж сказать...

Спиридонов поклонился, хотя собирался кивнуть. И то потому только, что надо было сделать какое-нибудь движение: дама на портрете – присмотрелся: синий тюрбан, рыжие кудри, нос пуговкой – нисколько не была похожа на... Зато человек в гамашах, в красной круглой шапочке, с кудлатой седой бородой и усами, концы которых лезли в рот, был точной копией самого Спиридонова. Если тому лет пять, что ли, не бриться и не стричься.

И это почему-то было нормально.

– Ну, что вы, право. Мне, знаете, какое-то непонятное удовольствие произносить вот это самое: «право». Какое-то необязательное слово, вот сказал его, а будто ничего и не говорил... А что до нее, то она... – человек подавил зевок волосатыми челюстями, – Кстати, зовите меня Котельников...

– Котельников? Зачем Котельников? Я подумал, вы... В смысле, почему мы...

– А то вы не знаете. Все вы знаете, но боитесь признаться. Малодушие... Впрочем, не осуждаю. А она, не переживайте, она когда-нибудь все равно придет... Нет, нет, на портрете не она, хотя это тоже Пармиджанино, в каком-то смысле. Или не придет она, что, собственно, одно и то же.

Человек швырнул на каменный пол огрызок гусяного пера со стальным наконечником, взлохматил, снизу вверх, отерев пальцы, бороду и, по-собачьи скосив несколько голову, окинул Спиридонова бесцветным взглядом:

– Промокли? В лесу-то, небось, сыро...

Спиридонов опустил глаза – и будто только этого всю жизнь и ждал. На мокрых тапочках со всех сторон топорщились рыжие концы сосновых иголок и склеенные влажным песком травинки.

Он понял, что за спиной нет больше никакой двери, и все это по-настоящему, взаправду, потому что всегда, всегда, сколько себя помнил, всегда хотел заползти под обложку «Острова сокровищ», влипнуть в «Сосновый бор» Шишкина, в нотный стан «К Элизе» и там остаться, и наблюдать оттуда за теми, кто его сейчас читает, видит и слышит...

– Да-да, это все, знаете ли, тоже некоторым образом Пармиджанино... Только переписанный. Здесь все так устроено. Вот, например, посмотрели вы на нее, а это она, да не она... Парсуна, то есть. Но вы не волнуйтесь. Я же сказал, ручаюсь, что она придет или не придет.

– То есть как это? Вы издеваетесь?

– Да. Издеваюсь. И поэтому сейчас, вот прямо сию минуту буду обращаться к вам на «ты». А как прикажете иначе, если человек не чувствует запаха мысли, я не говорю – движения? Она ведь... не мысль, конечно... В общем, все зависит от того, когда и как ты будешь готов. Ей – понимаешь? – ей мужчина не нужен. Он у нее уже есть. Имеется. Ну, вот как посуда в хозяйстве. А нужен ей делатель. Тот, который... ох, вот не люблю я пафоса, но по другому сказать будет искусственно: в общем, тот, который в пути и на пути к сущности великой цепи бытия...

– Опять «бытия»!..

– Ну, что делать, что делать... Какое, кстати, полезное слово «делать», а? Так что же делать? Учись. Жди. Терпи. И прежде всего выучи, что она придет или не придет, что одно и то же, потому что – вот тебе сущность – потому что так или иначе она от тебя больше не уйдет никогда. Ясно? Для этого каждое твое движение должно быть шагом к истине, а каждая истина – простейший камень сущности. Гольши. Вот и ты тоже пока еще гольши. И пока ты в ожидании, ты живешь. Ожидание – жизнь, обретение – смерть...

– Вы сами себя, вообще, понимаете? Немедленно откройте эту... как ее...

– Не суетись. Я последний раз такими словами выражаюсь. Хотя, наверное, еще придется... Ну, а по сути, коли она от тебя все равно никуда не уйдет, как ни крути, то вот еще мысль: не моя, заметь, а твоя: а вообще на кой черт она тебе сдалась? Кого ты хочешь? Ее? Какую ее? Что она? Символ, аллегория? Нечто этакое в дымке чего-то? Или все -таки конкретное тело с пятого курса, дура замужняя, которая лет через десять станет разведенкой, растолстеет, начнет ходить на поэтические вечера в библиотеку и в камерные концерты, чтоб страдать, и страдая, изливать себя на голову первому встречному? Не пьясья, не она, не она дама с портрета. А та дама, может, вообще неизвестно, кто. Может, ее даже вообще никогда не существовало. Вижу, не убедил... Но ты, того. Определись. Будь мужчиной. Баба с возу – волки сыты...

– Простите, как вас...

– Трудно сказать. Одни называют Добряком из Тревизо, другие Бернардом, кое-кто Франческо, но это, знаете, пижонство... А вам я, допустим... Да я ведь, кажется, и это уже говорил. Правда, хотел было рекомендоваться как Горшков, что ли. Но пусть будет Котельников. Есть хочешь?

– Есть что?

– Кушать, обедать, червячка заморить, вкусить чего-нибудь... Закусить, в общем. Со свиданьем.

– А! Да... Как-то так вот сразу-то... Если только за знакомство...

– Вот это правильно. Пока умный думал, дурак реку перешел. Вон и книжечка подходящая при тебе, так что и начинай, благословясь.

– Что начинать?

– Кашеварить. Шинковать. Тушить-варить. А чего ты этак с лица-то сошел? Ты вот подумай, что там – там! там тебя, допустим, все равно в армию забреют. Прямо вот лоб-то и выскоб-

лят. И не спасет тебя твоя межреберная дистония. И справочка не выручит. Знаешь, сколько коньяку мамаша твоя отгрузила... э-э... как его... подполковнику, что ли... знаешь? Ну, и там кой-чего еще, по мелочи. Армению спойть можно. Так что справочкой твоей сам и подотришь. А там, сударь, там уж тебе вагон, степь, тюльпаны, сапоги кирзовые, портянки и я тебе скажу еще кто: старший сержант Дюсенов из Актюбинска. Три года будешь перловку с вареной скумбрией трескать, по воскресеньям – яйца вареные, тушенку с гречкой жадать будешь, и штык-нож к пузу прилипнет, и сделают тебя ефрейтором. Так что, сокол, иди и не выдрючивайся.

– Куда – иди? Да я и готовить-то... Вот так сразу? И при чем тут дистония... И насчет покушать это, собственно, вы мне, а не я вам, и я сюда не напраши...

– Вот только не надо, не в участке... А ты на что рассчитывал? Ведь это еще вопрос, кто у кого оказался, а заодно уж и как оказался, и по какой причине, и кто кого потчевать должен, если согласился на предложение. Здесь это в порядке вещей.

– А было предложение? Хотя, да... Значит, это у вас вместо... Ну, хорошо. Ладно. Раз такие тут у вас... Но я не вижу, как это, так сказать... И потом, я же говорю, я никогда, кроме яичницы... И потом, надо же из чего-то готовить, из ингредиентов там всяких, а тут...

– Ишь тебя как: «ингредиентов»... А насчет бытия кобенишься. Если выход найдешь, спустись в подпол. Пошуруй. Там всего навалом. Что, выхода нет? Ай, вот незадача, вот, понимаешь, пердимонкль... Ну, стало быть, открывай книгу и вайй. Придумывай. Твори. Ты же всю жизнь хотел творить. Вот, значит, и твори.

– Из чего? Где оно, из чего? Из пердимонкля, что ли?

– А хоть из него. А то еще можно, знаешь как? Открой книгу. Выбери рецепт, напрягись, мозги в кучку. А можно и без книги. Можно, понимаешь, вот просто выдумать, значит, филе из единорога, а можно, допустим, сообразить Вега-Нор 2 а-ля Вазарелли по соусом Озанфан, или вот еще – креп-сюзетт из бороды святого Иеронима. Со шкварками.

– Может, еще заклинания какие-нибудь? Ритуалы? Обряды? Таинства?

– Ну, коли ты от этого удовольствие получить желаешь... А так, что ж: вот матом ругаться можно. Это пожалуйста. Это сколько угодно. Но только по-итальянски. Умеешь?

– Послушайте, вы так выражаетесь, в общем, совсем не как Бернард. Будто вам кто специально шпаргалку написал и заставляет вот это вот все так со мной...

– Такое у меня послушание. Я же сказал: я тебе Котельников. Котельников! Значит, и говорю как Котельников. Это другим я Бернард. А ты, олух, Котельникова слушай.

– Смеетесь...

– Сочувствую. Туговат ты. Ваятель из тебя, значит, пока что как конфета из говна. А потому, валяй-ка ты на рынок, оно так надежней будет. Осмотришься, может, кое-как умишком-то доскребешься, что да как... Только вот кофточку сними. Упреешь. Выход вон там. Дверь видишь?

– Вижу. А деньги?

– Что за дикость. Где видано, чтобы за деньги продавалась материя прима? Не позорься. Бери, что под руку подвернется. Приходишь, смотришь, берешь. И всего делов.

– И всего делов... Но... гм!...а тогда хоть пакет какой-нибудь, авоську там, сумку...

– Geh mit Gott.

И, взмахнув рукой, словно сгоняя со лба комара с рубиновым от крови задранном вверх задом, повернулся на табурете лицом к портрету. И замер, втянув голову в плечи так, что над спиной пузырилась только красная, как подосиновик, шапка.

Дверь оказалась тяжелой плитой из дубовых плит, окованных медью, и вместо ручки – позеленевшее от времени кольцо.

И по пути, подплывая, скользя по-над каменными плитами пола к двери он одним глотком, одним движением легких вдохнул то, что произошло – и это было похоже на веселый горячечный бред после того, как в детстве ему неудачно удалили аппендицит, и была еще

одна операция, и сверху на него наваливался нехороший, в трещинах и подтеках, потолок, и на серебряных канатах спускались с него знаменитые капитаны, и то ли Дик Сенд, то ли Тартарен все бил, бил его по рукам, заставляя крутить тяжелый, склизкий штурвал, чтобы на крутом бейдевинде уйти от гигантской туши Моби Дика, а потом была скачка по лавандовым, почему-то, полям, и ледяная корка под босыми ногами на скалах штата Мэн, где пришлось раскурить трубку с вождем гуронов, который предложил высадиться на Андромеду и там похитить полногрудую инопланетянку с ослиными ушами... Или еще ужаснее: воспоминание толстой, помятой воспитательницы из детского сада, Раисы Федоровны, которая любила сидеть на кухне в тихий час и обсасывать мясо с говяжьих мослов, шумно, с хлюпаньем и посвистом, и от этого желудок подкатывал к горлу, и тошнило от кошмара, что вот этими своими короткими цепкими пальцами она лазала в гороховый суп, которым их только что кормили, густой и с лопухами вареного лука, шарила там, в каждой тарелке, и вылавливала, вылавливала, цапала и тащила наружу кость, а потом обдирала с нее разваренные волокна и хрящи своим губастым, с волосками по краям, ртом...

Все случилось так, будто за ничтожную долю секунды он вдруг переосмыслил бессмысленное – мгновенно, но основательно, словно несколько часов, прихлебывая из высоких, с крышечками, оловянных кружек грог, вытянув ноги к зеву камина, они с этим самым Бернардом или как его там рассуждали о том, каким образом движутся планеты, и было ли на самом деле несварение желудка у Франциска Первого, и умеют ли ходить грибы, и чем дышат тритоны...

А может быть, именно об этом они и говорили, смакуя сладкий, с имбирем и корицей, ром на трех водах и пуская под потолок, прямо в зыбкое апельсиновое желе, отраженное камином, кольца сигарного дыма, – просто он этого не запомнил, и от этого душа замерла, погрузившись в покой и удивление.

Во всем было нечто подлинное, настоящее, не такое как прежде, а то, что было прежде, было фальшиво, ничтожно, смешно и стыдно, как внезапный дневной сон про Зину в душном плацкарте, где пахнет подмышками и вареной курицей.

Дверь поддалась легко.

4

Осколком глушеного стекла взорвался в глазах солнечный блик, отскочивший рикошетом от раскаленной до бела стены в том самом месте, где захлопнулась за спиной уже несуществующая дверь.

Когда смахнул слезы, оказалось, что стоит он посреди узкой, как колодезное горло, улочки, выстеленной полированными, со свинцовым отливом, каменными плитами. Над головой – чугунные балкончики с бельем и цветочными горшками, толчея вывесок, написанных латиницей на диковинном языке: буквы соскальзывали вниз, наваливаясь одна на другую, норовили развернуться задом наперед и поменяться местами: «Ocifinab», «Airizzip», «Airetso»..., а выше, зажатая червленными черепичными карнизами – длинная полоса голубовато-сливочного неба.

На конце улочки новогодней игрушкой была подвешена крошечная площадь, и перед ней из ближайшего, в размах обеих рук, переулка простреливала жирная полоса неестественно синего моря. И было предчувствие какой-то небывалой красоты, переизбытка прекрасного, увядающей прелести, которой недоставало какого-то едва уловимого изъяна, как бывает некое манящее несоответствие в чертах лица и фигуре – и наоборот: выделанность, он знал, всегда приедается, словно приторный вкус переваренного абрикосового варенья...

Все было так, будто вдруг оказался он в картинной галерее, где стены сплошь увешаны шедеврами от пола до потолка и впритык друг к другу. Чересчур много искусного на квадратный метр. И еще эти творческие линии: сколько ни расплетай, конца не найдешь, но завидно, завидно, завидно...

И что, если прямо сейчас встретит он... да вот возле лавчонки с мидиями на льду... Господи, как же ее зовут? Роза? Светлана? Ольга? Анна? Или опять, что ли, Зина? И ведь если даже ей позвонить, как к ней обратиться? А если номер потеряется? Фельдмаршальская фамилия. Не отыскать. Ни там, ни здесь, ни...

С треском бухнул, ахнул, рассопливился молодой арбуз – алое мясо с косточками обляпало штанины: из переулочка выкатывалась плетеная бричка о двух огромных колесах, доверху груженная продолговатыми, горячими полосатыми снарядами. Повозкой этой никто не правил, и никакая скотина не была в нее впряжена: колымага тихо постукивала, перекачивалась колесами с плиты на плиту, и держала курс, куда надо.

Ноги сами пошли за ней, и через... один, два, три... пятнадцать шагов он уже был со всех сторон стиснут лотками, длинными телегами, столами, прилавками, справа, слева, спереди и сзади его толкали в бок, мерцали, сияли, подмигивали, соблазняли черные и желтые фиги, пупырчатые лимоны, лиловые булавы баклажанов, копны шпината, пирамиды помидоров и чеснока. На кусках льда извивались серебристыми телами какие-то змееобразные рыбы, тупо глазели розовые бокастые окуни, шлепали хвостами упитанные бронзино, пожирала ртом воздух только что выловленная рыба-меч, посверкивали агатовыми панцирями мидии, казалось, хлопчут, суется, сучат лапками по ледяному крошеву живые креветки размером с доброго рака...

И дымчатая, шелковая тишина.

Сами собой шевельнулись кончики ушей, улавливая хоть какое-нибудь потрескивание – ни звука. Вообще никакого. Уставился на огромную кефаль, которая вот сейчас должна была шмякнуться хвостом о другую кефаль – вот изогнулась, выгнулась... и со всей силы так, что в воздухе вспыхнул фейерверк ледяных брызг...

Вспыхнул, застыл, рассыпался свинцовой стружкой и законопатил все регистры и керны вселенского органа. Мир оглох и потерял дар речи.

А вокруг клубились, толкались, наступали друг другу на пятки; отовсюду разинутые рты, прокуренные зубы, иссиня-черные щетинистые подбородки, вздутые вены на шеях, желтоватые белки жгучих глаз; красные, фиолетовые, зеленые, голубые платки на головах, платья и жакеты карако, батистовые фишю на декольте, чепцы и шляпки «памела», короткие и длинные штаны на мужских ногах с мощными икрами и блеск огромных стальных пряжек на черных башмаках, бурые жилеты, белые рубахи, маленькие засаленные треуголки, двурогие бикорны и потрепанные войлочные шляпы с прилипшими рыбьими чешуйками, блиставшими как монисто...

Воздух должен быть пропитан рыбными потрохами, чесноком и лимонами, но не было слышно ни единой ноты никакого запаха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.